

– Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистойвой белизной, заметала, на фоне вечернего, тёмного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиралями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столбчатые, реже – кирпичные, чаще – блочные, густо стоящие на пути моём зимнем, дома.

Я с трудом оглянулся – сквозь снег – на незнакомый голос.

(Был конец января. Среда скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, – был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвящённое этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нём была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был – бездомным, в московской, зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придётся? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но – не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, казалось, он не затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскрёб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи – на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрёл по холодной улице, наугад, куда-то вперёд. Шёл и шёл. Впереди забрезжила, сквозь метель, поначалу Пушкинская, с занесённым хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пелены снеговой, вдруг

разорванной ветром, хлётским, ледяным, – Маяковская, дымная, в едкой мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдохнусь. А потом – что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит – и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мёрзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашёл две копейки в кармане. И зашёл в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал – голос, бесконечно знакомый:

– Алё!

Ну конечно же, Толя Зверев!

– Толя, здравствуй!

– Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?

– Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.

– Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошёл, сквозь метель, вдоль ограды занесённого снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом – мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлёсты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

– Здравствуй, Толя!

– Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашёл в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то – согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

– Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.

– Здравствуй, Ника!

Зверев сказал мне хриловато:

– Пойдём, пойдём!

Сняв пальто, я зашёл в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном, комнату, очень тёплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба – с галстуками. Только лица их – я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И, хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе – половину стакана. Незнакомцы – налили себе водки, в маленькие, с напёрсток, рюмки. Ника – себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

– У Володи – день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, – гениальный, я-то знаю, об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки, с водкой, с винами и с шампанским, оживились – и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка – Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то ещё подействовало – но действительно, стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день – всё новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники – лафа. Выпить можно. И закусить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, стихи. Поболтать – об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бесчётных встреч.

Незнакомцы с Никой – о чём-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться – не стал. Если надо – пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.

Зверев как-то весь посерьёзней, наклонился ко мне – и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряжённо:

– Она шпионка!

– Кто? – не понял я.

Зверев:

– Ника!

– Почему?

Зверев, твёрдо:

– Я знаю!

– Брось!

– Ей-Богу! Она работает – ну, на этих, на кагебешников.

– Правда?

– Правда!

– Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?

– А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

– Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.

– Да оставь ты своё вино! Пригодится ещё. Смотри! – Зверев вытащил из-за пазухи фляжку виски. – Давай – из горла!

– Что ж, давай!

Мы со Зверевым – выпили.

Между тем, появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоём разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

– Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы – на такси. Подвезём вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то – и ладно.

И сказал я Нике:

– Поедем. Где-нибудь по дороге – сойду.

Зверев только взглянул на меня – и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли – прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев – молчал. Я – молчал. Незнакомцы – молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго – молча.

Я потёр стекло запотевшее. Посмотрел – вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул – и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

– Ты куда?

Он, в ответ мне, крикнул:

– Я к шурина!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы – молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

– А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

– Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы – переглянулись.

Ника:

– Ладно. Привет Оскару. До свидания!

– До свидания!

Выбрался я – в метель. Машина – тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрёл потихоньку – к Рабину.

Оскар был тогда – под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Ещё не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я всё это – знал. И всё же – не мёрзнуть же мне в метели! Оскар – человек хороший, приветливый. Навещу его. Есть в портфеле моём вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конечно, поговорим. Есть о чём ведь. А там – куда-нибудь доберусь ещё. Ночевать, где придётся, давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоится. Вон как метёт! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шёл я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом – я вижу сразу же так отчётливо – этаже – тёплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее – к цели!..)

Голос сзади:

– Эй, борода!

Оглянулся я. Позади – обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

– Эй, ты слышишь? Куда идёшь?

Отмахнулся я:

– Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это – всё, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар – получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня – не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала – смерть?..

Я очнулся, когда – не знаю, где – не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проёме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы – вывернуты. Шапки – нет. Шарфа – тоже нет.

Боль была – действительно адской.

Голова моя – просто раскалывалась.

Всё избитое тело – болело.

Надо было – как-то спастись.

Надо было – отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Ещё немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл её.

Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз – в снег. В сугробы. Пополз – дальше. Встать – я не мог. Всё – болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперёд. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом, затормозив, остановилась какая-то машина. Шофёр метнулся из машины – ко мне:

– Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

– Избили...

– Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шофёру я стеснялся. Небось, подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чём?»

Наклонился шофёр надо мной, стал меня поднимать:

– Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел – и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И начал подниматься. Шофёр помогал мне. Так на фронте, наверно, порой помогали друг другу солдаты.

И шофёр меня снова спросил:

– Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шофёру:

– К Сапгиру!

– Что? Куда? – не понял шофёр.

– Отвезите меня к Сапгиру!

– Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так избил?

– Не знаю... Сапгир – друг Рабина.

В моём сознании брезжило лишь это: Рабин – Сапгир.

– Довезу. Дорогу покажете?

– Постараюсь.

Шофёр помог мне забраться в машину и лечь, на боку, за заднем сидении.

Я сказал:

– Денег нет у меня.

– Да какие там деньги! – шофёр отмахнулся. – Вам надо в больницу!

– Нет, к Сапгиру, – упрямылся я.

– Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?

– Поэт.

– Поэт? Ну а вы?

– Я тоже поэт.

Покачал головой шофёр:

– И зачем же так бьют поэтов?

Я ответил ему:

– Не знаю...

Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом, за окошко. Говорил: «Сюда... Вот сюда...»

Наконец, добрались мы до дома, где жил тогда Генрих Сапгир.

Я сказал шофёру:

– Спасибо!

Он ответил:

– Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да, а как вас зовут?

– Владимир.

– А фамилия ваша?

– Алейников.

– Тот, из СМОГа?

– Именно тот.

– Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй, десять назад. Вы читали стихи. Хорошие. Только были вы – без бороды, молодым совсем. А теперь – с бородой. Я люблю стихи. Вы отличный поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это: «Когда в провинции...»

Я продолжил тогда:

– «Болеют...»

И шофёр, вздохнув:

– «Тополя...»

Я махнул рукой:

– Это – старое...

А шофёр сказал:

– Но живёт!..

Он помог мне выбраться в ночь из машины. Пожал я руку моему спасителю. Он, помахав мне рукой, уехал.

Я стоял во дворе пустынном.

Слава Богу, первый этаж. Высоко подниматься не надо.

Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.

Дверь открылась. В проёме дверном появился Генрих Сапгир.

Он взглянул на меня – и глаза его переполнились явным ужасом.

– Генрих, здравствуй! – сказал я Сапгиру. – Помоги мне сейчас. Пожалуйста.

– Что с тобой? – воскликнул Сапгир.

– Кто же так тебя страшно избил?

Я ответил ему:

– Не знаю. Обо всём – попозже, потом...

Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты я не пошёл. Добрался до кухни. И – рухнул там на пол, навзничь, потеряв сознание вновь.

Сколько так пролежал я – не помню.

Приоткрыл глаза. Посмотрел – да, похоже, утро. Светло.

Значит, жив я. Действительно, жив!

Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там говорил, обо мне, с женой своей, Кирой.

Кира властно сказала Сапгиру:

– Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он отсюда убирается поскорее!

Так. Понятно. Я лишний здесь.

Что возьмёшь с неё? Это ведь – Кира. Наплевать ей, видимо, нынче на моё состояние. Надо подниматься. И встал я на ноги.

В кухню зашёл, с десяткой в руке, смущённый Сапгир:

– Володя, вот – на такси.

– Всё я слышал, – сказал я Сапгиру. – Не волнуйся. Скоро уеду.

Взял десятку. Сказал:

– Верну.

Отмахнулся Генрих:

– Не надо!

Я сказал:

– До свидания, Генрих! За приют, за помощь – спасибо. Постараюсь преодолеть наваждение это. Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь – отлежусь. Надеюсь, что примут.

И сказал мне Сапгир:

– Держись!

И ответил я:

– Буду держаться!

Дверь открылась. Я вышел – в снег.

И побрёл – сквозь сугробы – вперёд.

На такси – кое-как доехал до знакомых. Там – отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга – не шутка. Да ещё такое, устроенное, безусловно, профессионально, без булды, со знанием дела. Должен был я боль – победить.

Победил. Отшумели метели.

Паспорт – новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку – кто-то мне подарил. Шарф – нашёл я прямо на улице. Голова – болела порой. Очень сильно. Бывали кризы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Всё я вытерпел. Преодолею. Боль. И всю череду бездомниц. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи – нет. Есть – лишь память. И – жизнь. И – речь. Время – вправду материально. Потому что живёт в нём – творчество. Может, жречество? Змеборчество. И – огни негасимых свеч.

...В середине семидесятых. Мы – в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось – в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Всё могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперёд, что с ним всё-таки произойдёт.

Мы – вдвоём. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» – приговаривал Зверев частенько. Я – бездомничал. Зверев – маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находиться боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоём, по Москве. Ночевали всегда – где придётся. Там, где пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова куда-то ехали или шли. И так – месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоём – веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое – сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он – художник, я – поэт, надёжной была. Мы дружили – как на войне. Шли геройски – сквозь все сражения. Фронт – повсюду был. Приходилось – воевать. Он – кистью, я – словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф, и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоём было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный.

Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся – мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасённого мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может – из-за пазухи, может – из шкафа, ну а может – и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принёс два гранёных стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб – нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом – закурили, я – сигарету, он – сигару. Стало теплее. За окном – шёл осенний дождь. Мы курили – и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поискать понадежней пристанище. Остаться здесь нам – опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:

– Что потом?

– А потом – зима! Снег выпал, а я взял и выпил! – Зверев шурился на меня, улыбаясь, хитрющий, весёлый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородою: – Вот Дед-Мороз!

Я сказал ему:

– Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

– Посмотри. Это – ты.

Я взглянул:

– Да, очень похож.

Со стола на мои колени, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это – разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нём висели костюмы, брюки, пиджаки, совершенно новые, заграничные сплошь. Гардероб у художника был солидным. Всё – добротное, прозапас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

– Вот, надень. От Костяки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

– Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

– Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои дают. Я – беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.

Зверев сразу насторожился:

– Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

– Почему?

И Зверев мне ответил:

– Везде – враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное – и одел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:

– Пойдём. Но куда? На улице – дождь.

Зверев, кратко:

– Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого – прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашёл. Позвонил. И сказал:

– Мы скоро приедем.

Я спросил:

– На метро поедет?

Зверев поднял бровь:

– На такси!

Сунул руку к себе за пазуху – и достал толстенную пачку четвертных, десятирублёвок и пятёрок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:

– Деньги – есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

– Хорэ, хорэ!

Впереди – огонёк зелёный замычал. В таком районе захудалом – и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина – остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофёра: «Куда?» – Зверев кратко ответил:

– В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестёр Синяковых, в которую был влюблён. Мы со Зверевым навещали иногда её. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь всё у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но разве возраст – преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестёр Синяковых были знаменитыми. Встарь – дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, всё когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неужённый Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева – и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она – впускала его. Рисовал он её – непрерывно. Были сотни её портретов, на которых Оксана – сияла несравненной своей красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя – вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки – и понёс её в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана ещё больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у неё работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала – по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны

Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, – такой и останется, полагаю, она – в веках).

Мы приехали в центр. Пришли, оба – выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на неё глазами влюблёнными. А потом и сказал:

– Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

– Как же так?

Зверев – ей:

– Он бездомничает.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна. –

Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

– Да, так получилось.

Зверев буркнул:

– Володя – гений! Как и я. Мы с ним оба – гении.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна – Понимаю, всё понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

– Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя – гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я, по возможности вежливо:

– Здравствуйте!

И услышал:

– Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеси. Оксана Михайловна рассказала мне всё. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же – приезжайте!

Я сказал:

– Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

– Вот. Вы найдёте, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

– Поезжай. Поживи, в нормальных, человеческих, то есть, условиях. Отдохнёшь. Наберёшься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы ещё, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

– Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

– Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шёл нескончаемый, сильный дождь.

Я всё думал: поехать, что ли? – или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделать с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожирую, хорошую женщину, да ещё и вдову Олеси, мне собою обременять. И решил я тогда – не ехать к ней. Поплёлся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шёл, вдоль насупленных улиц, вперёд. Где-то я отыскал пристанище. А потом ещё, и ещё. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня – молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и – выстоял, даже, можно сказать, победил, – слава Богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...

...Зверев – рисует. Где-то в центре Москвы. В какой-то большой, с потолками высокими, с окнами в полстены, с люстрами, отрывающимися на шаги по паркету, натёртому до блеска, долгим, протяжным, мелодичным, хрустальным звоном, просторной, чистой квартире. Пригласили какие-то люди, с виду вполне ухоженные, спокойные, в меру приветливые, художника знаменитого – сделать портреты семейства.

Мы пришли туда с Толей вдвоём, потому что в семидесятых часто вместе, подолгу, неделями, а бывало, что и месяцами, бродяжничали по столице, по домам её, то неприветливым, откуда уйти хотелось как можно скорее, в ночь, в метель или в дождь, всё равно, лишь бы только быть пусть и бездомными, но всяких граждан недобрых, по возможности, независимыми, то на редкость гостеприимным и вполне симпатичным домам, где ночлег был радостью подлинной, и тепло, и беседы с хозяевами, понимающими, радушными, драгоценными были для нас.

Мы пришли. Принесли с собою две коробки школьной, дешёвой, в виде твёрдых прямоугольников, акварели, простой, надёжной, той, которую предпочитал всем другим сортам акварели, даже сверхдорогим, заграничным, неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с собою бумагу и несколько плоских, щетинных, для руки удобных кистей. Отдышались немного, с дороги. Побеседовали, из вежливости, о том да о сём, с хозяевами, которые, вроде, настроились на серьёзность того, что будет вскоре происходить. И работа тогда – началась.

Зверев – работает. Весь, от макушки до пяток, – в работе.

Всклочены волосы Толины.

Цепок и точен его пронзительный, резкий взгляд.

На полу – целым фризом разложены ватманские листы.

Рядом с ними – тазик с водой.

И – коробки со школьной, простой, любимой его акварелью.

В руках у художника – несколько больших, широких кистей.

Зверев – ходит между листами ватманскими, нагибается, делает поочерёдно на каждом листе мазок, выпрямляется, смотрит на то, что получилось, дальше движется, и листы заполняются постепенно цветом, преображаются – и начинают жить своей, особой, таинственной и полнокровной жизнью.

Семья хозяев – сидит на стульях, напротив Зверева, в полном составе. Смотрят, словно на чародея, на него. Любопытно им – что же в итоге получится? Но пока что – надо позировать. И сидят они все, как миленькие. И позируют. Устают, но, однако, терпят. Так надо. Так сказал

художник: сидеть! Двое взрослых, муж и жена. Муж – солидный, немолодой. А жена – молодая, красавица, в лёгком платье, с глазами томными, с поволокой. Двое детей, принаряженных, симпатичных, круглолицых, мальчик и девочка. Обеспеченная, наверное, да и дружная, вроде, семья.

Зверев рисует их – по очереди. Начинает с детей. А потом переходит на взрослых. Он ходит по полу, между листами, машет кистями, брызжет водою из тазика и на паркет, и на бумагу, фыркает, приплясывает, бормочет что-то своё, хватается акварель, всю коробку, вываливает её на бумагу, шлёпает рукой по бумаге, которая заполняется всё интенсивнее, и это – процесс, который остановить невозможно, творческий, вдохновенный, в полёте, в сплошном движении, и это – действие, загадочное, таинственное, ритуальное, фирменное, коли так можно назвать его, зверевское, так-то проще, и по-русски звучит привычнее, жреческое, магическое, действие его трудов.

Зверев порой говорит:

– Сюда посмотри, детуля!

Или бормочет:

– Так. Не двигайся. Хорошо.

Заворожённая Зверевым, семья послушно, смиренно подчиняется беспрекословно ему, потому что так надо, выполняет его приказы, и смотрит во все глаза на него – жонглёра и фокусника, циркача, актёра и мага.

И расцветчивается бумага.

И на ней возникают – портреты.

Как, откуда? Вроде бы не было их недавно – и вот они, здесь!

Чудеса, да и только! Тайна.

Есть в квартире теперь – новизна.

Здесь присутствует нынче – искусство.

Зверев топчется возле работ.

Говорит:

– Не хватает белого!

Но никто его не понимает из хозяев. Какое белое?

Зверев голос на них повышает:

– Есть у вас порошок стиральный?

– Есть! – ему отвечают. Идут за порошком. Несут порошок в коробке. Протягивают коробку полную Толе.

Зверев берёт коробку, прыгает над работами в странном танце – и сыплет, сыплет порошок, словно снег, на работы.

И работы – преображаются. Одна за другой, по очереди. Светлеют. Становятся дымчатыми. Да ещё появляется в них – фактурность. По акварелям словно метёт позёмка.

Зверев смотрит на то, что сделал.

Говорит хозяевам:

– Веник! Поскорее – несите веник!

И ему приносят большой и широкий новенький веник.

Зверев макает веник в тазик с водой – и брызжет на работы. И что-то снова происходит с ними тогда. Сквозь белёсость от порошка прорывается цвет – всё гуще, всё обильнее, пятнами, сгустками, цвет – в котором таился свет, а теперь получил возможность здесь, в квартире чужой, сиять – и решительно всех изумлять.

Зверев бросает веник на пол. Дух переводит. Смотрит на акварели. И говорит хозяевам:

– Нож! Принесите нож!

Хозяева не понимают его. Озадаченно спрашивают:

– Какой ещё нож? Зачем?

Зверев им объясняет:

– Кухонный нож. Любой.

Хозяйка идёт на кухню. Приносит столовый нож. Протягивает его, с некоторой опаской, надо – так надо, Звереву.

Зверев хватает нож. Делает им на работах белые резкие полосы, всякие загогулины, по сырым цветовым переливам, поверх акварели. Потом пишет ножом на каждой свежей работе, ставшей почему-то воздушной, движущейся, подпись свою – АЗ. И, разумеется, – год.

Смотрит на акварели.

И говорит:

– Всё!

На пол бросает нож. Выпрямляется. И – улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, да и нужно ведь, отдохнуть.

Члены семьи, которых изобразил художник, с места встают, порываются посмотреть поскорей на работы.

Зверев их останавливает:

– Нельзя! Работы – сырые.

И говорит помягче:

– Пускай полежат. Потом успеете посмотреть.

Члены семьи соглашаются – ну что ж, потом так потом.

Зверев спрашивает меня:

– Скажи, ну как, получилось?

Я отвечаю:

– Да. Получилось. Ты молодец.

Зверев довольно щурится.

Хозяин зовёт нас к столу – выпить и закусить.

Приглашение мы принимаем.

Сделанные акварели остаются лежать на полу – сохнуть, до той поры, когда их, наверно, тогда, когда разрешит художник, можно будет смотреть.

Время за разговорами, за выпивкой – быстро проходит.

И вот отдохнувший немного от трудов своих долгих художник говорит наконец хозяевам:

– А теперь – смотрите работы!

Вся семья бросается в комнату, где лежат на полу акварели.

Видят их. Восклицают восторженно:

– Ах, какие мы все красивые! Ну, спасибо вам, Анатолий Тимофеевич!

Зверев:

– Не за что. Я – работал. А вы – позировали. Я вас просто увековечил.

Хозяева – деньги ему в аккуратном конверте протягивают – за работу. Зверев небрежно берёт конверт и суёт в карман. Заработал – и ладно. Пригодятся ещё, на жизнь.

Мы прощаемся с увековеченной семьёй – и выходим на улицу, в гомон столичный, прямо в ненастный осенний вечер.

И Зверев мне говорит:

– Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне с тобой спокойнее как-то. И рисуется лучше, вроде бы, чем тогда, когда я один.

Я киваю в ответ головой.

Что сказать? Здесь слова не нужны.

Всё и так понятно, без слов.

Мы идём вдвоём, вдоль домов, то теснящихся, то расступающихся чуть пошире, вдоль длинных оград, вдоль деревьев редких, куда-то – в сердцевину безвременья, в даль, за которой возможна и глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни впереди зажглись, где куда-то прийти нам надо, где дождёмся тепла и лада...

* * *

...Отыскался мой давний набросок.

Оказался – с виду – небросок.

Только в нём – прежней жизни кусок.

Сразу кровью набух висок.

Сердце сжалось. Душа встрепенулась.

Неужели что-то вернулось?

Ненадолго? Или – навек?

Эх, наивный я человек!

Что гадать об этом – теперь?
Жизнь – моя. В ней не счесть потерь.
Обретений и снов – не счесть.
Нечто странное в этом есть?
Нечто светлое, всё же? Так.
Безусловно. Светлее стало.
В мире. В яви. Её ли мало?
Звук ли с призывком? Добрый знак.

Истрёпанные, пожелтевшие, но всё-таки уцелевшие, завалывшиеся в бумагах, разрозненные листки.

С изрядным трудом, признаться, разбирая свой собственный почерк, попробую прочитать этот текст о минувшем времени.

День этот – день особый – начался, понимаю теперь я, задолго до своего места в календаре.

Пространным к нему предисловием было вынужденное, донельзя утомительное хождение моё по московским улицам – вроде бы и среди людей, вон их сколько везде, но в то же время и в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем, непоправимом, невыносимом, осторонь от всех и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодящими, то воспалённо-жаркими, возникающими непрерывной чередой в усталом сознании, скомканными, запутанными, с узелками событий, завязанными наугад, лишь бы вспомнить, мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важными были в ту трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже самых жёстких, условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы голову приклонить, лишь бы снова почувствовать эту безопасность приюта мнимую, безопасность дома, любого, пусть знакомого, пусть чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.

Тогда – Боже мой, каким же чудовищным, да и только, представляется это нынче, в спокойную, пусть относительно, и на том ей спасибо, пору жизни моей, – я бездомничал.

Семилетняя полоса измотавших меня вконец, показаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого, пока что, ещё не знал.

Одно лишь изредка брезжащее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да ещё какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать всё чаще в хандру, или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлёта, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

Тот, кто вдосталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормою проплывающих в гуще тумана молчаливых судёнышек, годы – без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, всё сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметам нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, – пребывая в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной повседневностью, сонмами будней, беспросветных и хищных, куда-то на обочину той дороги, по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной божественности, к неприкаянности, к отверженности, – понимает меня, с полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытав это всё на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.

Так всё складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, всё равно не услышит никто,

податься, не к кому было зайти, ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на всё был согласен я тогда, но куда деваться, если некуда было идти, просто некуда, не к кому вовсе, – никуда, увы, не пойдёшь, ни к кому, словно встарь, не зайдёшь, никого нигде не найдёшь, и на все вопросы ответ был единственный: нет.

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.

Нет – и всё тут. Где их искать?

Пустота, вместо них, какая-то нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? Маета с теснотой? Кто знает!

Свято место, вроде, – ан пусто.

Знать, бывает. Идей – не густо.

Мыслей – хоть отбавляй. С избытком.

Не прибегнуть ли вновь – к попыткам?

Чай, не пытки. Ну что ж, рискнём?

Не впервой играть мне с огнём.

Не впервой идти на авось.

И откуда это взялось?

Всё оттуда – из лет былых.

Из бездомиц, из бед сплошных.

Из невзгод. Наугад – вперёд.

Через реку времени – вброд.

Сквозь огонь, и дождь, и снега.

Благо жизнь была дорога.

Хоть висела – на волоске.

Хоть несладкой была – в тоске.

И – нескладной. Нелепой. Пусть.

Это помнится – наизусть.

Это было – не с кем-нибудь.

Был тернист и кремнист мой путь.

Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шатаясь, от усталости многодневной, и от голода, что там скрывать, в очередной, попавшийся, на пути моём, на глаза мне, телефон-автомат, в пустую, тесноватую, душную будку, с разбитыми стёклами, с дверью расшатанной, с трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер, в надежде, что вот-вот дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядёт впереди подмога, и удача, возможно, ждёт.

– Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.

В ответ раздавались либо длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда, сигналившие о крушении всех

надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних вовсе, ни о чём, вот и всё, гудки, либо голос невыразительный, отвечал, что сейчас такого-то, по причинам, ему неизвестным, разумеется, дома нет.

Измотанный, полуживой, с тяжёлою головой, с растрёпанными волосами, под столичными небесами, среди стен и оград, один, с бородою рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба чёрствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком к обморочному, что было действительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их всё-таки сколько, таланты, ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьём сердце живёт отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни вида блага ни в тепле, вернее, жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в амбирных, в сторонке, чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешённо, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил, на зелёный, дозволенный свет, проезжую часть шуршащих, верещащих машинами улиц, изредка, чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зелёной краской с ядовитым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал, и шёл, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня – и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, что само по себе отпадало, отметалось немедленно всеми, нет, и всё, забывалось тут же, потому что дорого время, а здоровье ещё дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и, тем более, мимо этого, бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле, поди гадай, может, бомба, а может, граждане, прокламации, или

выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку, держаться подальше, так спокойнее, так надёжнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрепке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих вообще уже ничего, всё равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, да где покой, где, скажите, прелести быта, всё для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждёт корыто, вместо царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в гастроном заскочить за манной земной, – обходили меня стороной.

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.

Пересекали Садовое, в рёве машин, кольцо.

Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.

Что-то случилось? Вроде бы все – на одно лицо.

Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чём-то дурном, пятно.

Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были все заодно.

Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.

Растерянно шурясь, брёл я на свет раскалённого солнца, инстинктивно вбирая, впитывая, впрок, возможно, его энергию.

Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства, скорее – конфеты, но считать мне хотелось – лекарства.

Боль была – какой-то сквозной.

Сверху донизу – всё болело.

Что за странности? В чём же дело?

Был взволнован я. Что со мной?

Промелькнул, пусть на миг, испуг.

Отогнал его. Где ты, воля?

Вдосталь в жизни – всяческой боли.

Распадаться нам недосуг.

Не сдаваться! За кругом круг.

Шаг за шагом. И миг за мигом.

К новым встречам. И – к новым книгам.

А потом – и к себе, на юг.

Если вырвусь отсюда снова.

Если сызнава повезёт.

Я надеюсь. А боль – пройдёт.

Неприменно. Честное слово.

Так вперёд! Сквозь тоску – вперёд.

Сквозь усталость. И сквозь бездомность.

Вечер скоро. Небес огромность.

Безусловность грядущих льгот.

Обретений возможных свет.

Пробуждений. Прозрений новых.

И – путей впереди. Суровых?

Лёгких – попросту в мире нет.

Истощение, да и только, – подобное состояние, как ни думай о нём, иначе, очевидно, и не назовёшь.

А может быть, просто усталость, общая, так ведь спокойнее, – следствие предыдущих, на износ, тяжелейших недель.

Надо было справиться с этим состоянием – предстояния: перед всем, что ждало меня впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом городским, за каждою крышей, каждым деревом, каждым окном, каждым, даже тревожным, сном, каждым, чудом пришедшим, благом, каждым поднятым в небо флагом, каждым шагом – в пространстве, сквозь время, сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомиц моих кошмар позади наконец оставив, и воспев, и навек прославив, коль сумею, душевный жар, и найти заветное слово, чтобы впредь его укрепить, надо было мне – выжить снова, чтобы дальше – дышать и жить.

Итак – что же было? Долгое моё, по мукам, хождение, с утра, и весь день, и вечером, и ночью, что вдруг пришла.

По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, – знать, не было им числа.

Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту застройки столичной, и ввысь, почти.

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, как у нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на моём пути.

Вдосталь наслушавшись пения голосистых предутренних птиц, почему-то я оказался в пустынном саду «Аквариум», где и встретил встающее солнце.

Стены театров поблизости смотрелись какой-то странной, вычурной декорацией.

Главное было в том, что рядом цвели деревья.

Сощурившись и соскучившись не на шутку по красоте, смотрел я на свечи каштанов, каскадами вертикалей излучавшие белый, тихий, с розоватой прослойкой, свет, на яблони, благоухание которых казалось мне утренним шёпотом из далёкого, но доселе близкого детства.

И только две-три фигуры, застывшие, как изваяния гипсовые, на скамейках, да чья-то собака лохматая, бредущая по дорожке, порою напоминали о присутствии в мире, в столице, в непреложной яви, людей.

...Вот и всё, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через много лет, повторил за ним Заболоцкий в своих поздних стихах чудесных, удалось мне, грустно вздохнув о былом, головой качая поседевшей, всё ж разобрать.

Но зато – сразу, если не всё, то уж точно многое вспомнилось.

Приходится, вот как бывает, подумать ведь только, себя, с опытом всем своим немалым, с памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или солнечным, или звёздным, и звучащим, буквально сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедленно, не теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть какую-то кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в который уж раз, даримого кем-то свыше, не записать.

Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков явленным изобилием, знаков, символов, смыслов, тональностей речь полна – они не молчат.

И звучат голоса из прошлого, в переключку вступая с нынешними голосами, да и с грядущими, несмотря ни на что – звучат...

* * *

Сколько помню Володю Яковлева – всегда он, самоотверженно, вдохновенно, порой неистово, с отдачей полной, трудился.

Полуслепой, постоянно, где бы ни был, повсюду теряющий очки с какими-то слишком уж большими, всех озадачивающими, «не как у людей»,

диоптриями и поэтому предпочитающий обходиться обычно без них, приближал он, бывало, вплотную, не глаза – всё лицо! – к прикрепленному четырьмя кривоватыми кнопками картону, плотно стоявшему на мольберте, а то и просто наспех к нему прислоненному ватманскому листу бумаги с молниеносным, только ему одному и понятным, летучим наброском, несколькими штрихами определяющим сущность работы будущей, вскоре, возможно – по волшебству, обязанной появиться, – и будто бы чуял её, видел всю её – внутренним зрением.

Потом начиналось – бурное, стремительное движение руки, взлетающей вверх и вниз, и влево, и вправо, и куда-то за край листа, и вокруг листа, и потом в самый центр его, в точку схода линий всех, и пятен густых, недомолвок, смещений, сгущений, и разлившееся внезапно полноводной рекою буйство всех, что есть под рукою, красок, и мельканье неудержимое и широких, и тонких кистей.

Гуашь, которой Володя обычно работал, всплёскивалась в открытых загодя баночках, словно сама с готовностью вырывалась ему навстречу, и летела к бумаге, и сразу же ложилась именно там, где было необходимо.

Точнейшими попаданиями динамичных, резких мазков заставлял он ворочаться, двигаться, дышать широко и свободно всю цветовую гамму, контрасты все и акценты.

Любое пятно, скопления капель, россыпи брызг, в совокупности дерзкой своей, всегда играли по крупной, работали все – на общее, на целостность всей работы, на то, что должно – быть.

И вот возникал – образ.

И – начинал жить.

Яковлев, посмотрев на то, что он создал, сощуривал в две китайские узкие щёлочки свои фантастически тёмные, да просто угольно-чёрные, с никогда и нигде не гаснущим на самом дне увеличенных донельзя зрачков, таинственным, беспокойным огнём, какие-то по-особому жаркие, жгучие, поразительные в своей непохожести на другие, на такие, которых множество можно видеть на каждом шагу, нет, конечно же, с не случайною в них надеждой, необычайные, даже больше, похоже – провидческие, изумительные глаза, откладывал в сторону кисти, закруивал сигарету – и, в сизом облаке

дыма, с лицом, слегка побледневшим от немалого напряжения недавнего, распрямляясь, как будто бы поднимаясь над судьбою своей суровой, над работой своею новой, улыбался устало:

– Всё!..

...Весной шестьдесят шестого рассказал я Володе Яковлеву о случайно увиденном фильме Феллини «Джульетта и духи».

Он – выслушал с интересом меня. Походил по комнате. Закурил. Посмотрел в окошко задумчиво. Поглядел на меня своими чернющими, как пылающий уголь, глазами, задумчиво, но и пристально. Пошевелил губами, влажными, лиловатыми, растресканными слегка, с прилипшей табачной крошкой жёлтой. Потом сказал:

– Алейников! Там, в этом фильме, – духи, сплошные духи. Сколько их, этих духов? Бедную женщину – жаль. Кто ей поможет? Она, видимо, очень страдает. В жизни – такое бывает. Вот, например, у меня. Духи – повсюду. Разные. А может быть, и не духи. А так, непонятные силы какие-то. Вижу я их. С ними борюсь постоянно. Даже, похоже, сражаюсь. Нельзя их к себе подпускать. Лучше держаться подальше от них. Так спокойнее, вроде бы. Хотя – какое спокойствие может – в моей-то жизни, сам понимаешь, какой, и смысла нет объяснять, почему она получилась не такой, как у всех вокруг, а какой-то слишком уж странной, да ещё и нелепой, даже первобытной какой-то, дикой, да и грустной, – быть у меня! Что, скажи-ка, мне остаётся в этой жизни делать, такой вот несуровой? Только работать. Да, работать. Вот и тружусь непрерывно. Этим спасаюсь. И от духов, и от тоски, и от вечного, каждый миг, каждый час, каждый день, каждый год, бесконечного одиночества. Жив я – духом. Высоким, знаю. Тем, который не всем даётся. Нелегко мне. Это уж точно. Значит, надо терпеть. Смиряться? С чем же? С бредом? Нет, никогда не смирюсь. Потому-то я и рисую. И – выражаю всё, что есть в душе у меня, всё, что чувствую, всё, что вижу, всё, что я понимаю. Чем? И умом своим, и хребтом. И – чутьём своим. Весь я – творчество. Так, пожалуй, можно сказать обо мне. Такое вот слово в языке нашем есть. И в нём – жизнь моя и судьба моя.

И Володя взмахнул рукой, словно птичьим крылом, как будто захотел сейчас же взлететь – высоко, туда, где не будет ни

унылого быта, ни грусти, ни психушек, ни всяких житейских, надоевших порядком, сложностей, ни всего, что давно мешает жить ему по-людски, дышать полной грудью, быть полноценным человеком, а не каким-то инвалидом полуслепым, где его заждались вдали свет целебный, покой и воля, где исчезнет навек с земли даже признак всегдашней боли...

...А когда я, всё той же весной, рассказал взволнованно Яковлеву об увиденном, тоже случайно, фильме Феллини «Восемь с половиной», шедевре явном, стал Володя вдруг очень серьёзным, а потом о чём-то задумался.

И сказал:

– А вот этот фильм понимаю я хорошо. В нём движение творчества есть. Это всё мне прекрасно знакомо. Жаль, что я не бываю в кино. Ничего не поделаешь – зрение. Но зато у меня есть то, чего вовсе нет у других. У меня есть – воображение. И оно, это знаешь ты сам, начинает – преобразование. А чего? Да чего угодно! Вот хотя бы комнаты этой. Подоконника. Шкафа. Стола. Этих красок. И этой бумаги. И тогда является – творчество. Что такое, по-твоему, творчество? Это чудо. И результат – навсегда запомни – труда. Потому-то я и работаю. Каждый день, между прочим. Тружусь. И работой своей – спасаюсь. От всего, что мешает мне жить. И работа моя – серьёзная. И картинки мои – долговечные. Это твёрдо я знаю. Когда-нибудь их поймут, непременно поймут. Да и нынче уже – понимают. Пусть не все. Это вовсе не страшно. Понимают мои картинки те, кому пониманье – дано. Согласись, что и это – дар. И поэтому пусть мне бывает тяжело, даже очень, нет, слишком тяжело, да так, хоть кричи. Ничего. Работа меня отовсюду выводит к свету. И победа будет – за мной.

И Володя взглянул – как будто быстрой птицей рванулся в пространство – за окно, туда, где свободно разливался весенний свет, – и глаза его стали влажными, и лицо его посветлело, словно стал он в это мгновение обитателем ясной вечности, вне любых обстоятельств жизненных, слишком грустных, и вне времён...

Однажды, в период, поистине редкостный для него, относительно ровный, спокойный, без томительного пребывания в

очередной психушке, и хорошо, что вдали от этого заведения, в родительской тесной квартире, вдохновенно и одержимо работая целыми днями, весь – в трансе, в полёте, в движении, в очередном постижении творческих тайн, открытий, весь в ореоле наитий, неистовый труженик, Яковлев, сделал огромную серию гуашей – и пригласил, внезапно, позвал, по-дружески, даже призвал меня – немедленно их посмотреть.

Получилось это неожиданно.

Я позвонил Володе, чтобы голос его услышать и немного поговорить.

И услышал – категоричное:

– Алейников, приезжай! Приезжай ко мне поскорее. Я тут столько всего наработал! И хочу тебе всё показать.

Я ответил:

– Скоро приеду.

И – приехал к нему, в квартиру на Шелепихинской набережной.

Яковлев был в ней – один.

Он встретил меня – и сразу же потащил за собой, в свою комнатку-закуток, – поскорее смотреть работы.

И сызнова началось – нечто невероятное.

Работы размером в четверть ватманского листа он, дымя сигаретой, перебирал довольно быстро, как будто небрежно перелистывал толстую книгу.

Потом начались работы на половинках листа – их он показывал медленнее, сам в них пристально вглядываясь, а интенсивность живописи всё усиливалась и сгущалась.

Потом пошла чередой гуашей в полный формат, мощных, монументальных, щедро насыщенных цветом, буквально поющих, звучащих, в дивной гармонии красок, в космической полифонии тонов и полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, оттенков, штрихов, деталей, обобщений, прорывов сквозь время, путешествий в пространстве, – и Яковлев показывал их с каким-то пробудившимся в нём достоинством, со значением, всё возрастающим, в ещё более медленном темпе.

От пиршества цвета, от этого количества явных шедевров, у меня уже закружилась голова, заболели глаза.

Взглянув на меня и почувствовав, что я уже очень устал, и явно щадя меня, Володя вздохнул устало, отодвинул работы в сторону – и прекратил просмотр.

Он закурил – и тихо, доверительно произнёс:

– Вот видишь, сколько их, этих картинок новых моих! Я – рисовал, рисовал. Всем уже рисовал – и руками, само собой, и ногами, и головой. Задницей только ещё не пробовал рисовать. Но так вот, конечно, не надо. А работать – надо и дальше. И я всё рисую, рисую. А что ещё остаётся? – он сощурился на меня, улыбнувшись. – Ну как, понравилось?

И я, совершенно искренне, тогда ответил ему:

– По-моему, эти новые вещи твои – гениальные.

Он весь, будто солнечный луч озарил его, вырвал из мрака, засиял глазами бездонными, грустными, – и просветлел.

Году в шестьдесят шестом я познакомил с Яковлевым своего тогдашнего друга, Виталия Пацюкова.

Тогда ещё не был он известным искусствоведом, автором многочисленных и весьма серьёзных статей о близких ему художниках нашего авангарда, куратором разных выставок в России и в западных странах, просто незаменимым, непрерывно и плодотворно трудящимся, год за годом, во имя искусства нового, человеком, а был простым инженером, где-то работал, числясь на скромной должности, но зато горячо, всерьёз, любил он литературу и любил, конечно, искусство.

Позвонил я однажды Яковлеву.

Договорился о встрече.

И – привёл к нему Пацюкова.

Там, в небольшой двухкомнатной квартире, где, несмотря на полное, даже полнейшее, безнадёжное просто, отсутствие более-менее сносных условий для творчества, Яковлев постоянно, целенаправленно, работал, а заодно и жил, в тесноте невыносимой, в крохотном, темноватом, полубольничном, что ли, полутюремном, вроде, полудомашнем, так уж выглядел он, закутке, Пацюкова ждало настоящее откровение – было ему явлено, щедро, с открытостью полной, великое множество гуашей разнообразных на бумаге, холстов, картонов и рисунков, незамедлительно изумивших его, потрясших и пробудивших в нём любовь огромную к яковлевскому необычному творчеству, искреннюю, на всю его жизнь, такую, которая редко бывает, а если бывает – то навсегда.

И решил он приобрести какие-нибудь работы.

Я показал ему на женский портрет, написанный маслом на плотном картоне:

– Посмотри-ка. Это шедевр.

И Виталий купил, прислушавшись к словам моим, этот портрет.

Работа – дивная просто. В коричневых, охристых, с призрачной белёсостью, тёплых тонах.

По тону, по строю, по духу – какая-то скандинавская.

И – музыкальная очень. Наполненная отголосками знакомых мелодий давних.

Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. А с ним – и Григ.

Потом приобрёл Виталий женский портрет – на ватманском, большом, упругом листе.

Отдалённо напоминал он жену Пацюкова, Светлану.

Метаморфозы всякие – начались чуть позже, потом.

Как только этот портрет, окантованный, под стеклом, стал висеть на стене в квартире Пацюковых в Марьиной Роще, Светлана, такая, как имя её, светлолицая, светлоглазая, отзывчивая и простая в общении частом с друзьями, но при этом и образованная, со своим, всегда независимым, оригинальным мышлением, да ещё и с какой-то особой загадкой, даже тайной, где-то там, в глубине её крылатой и светлой души, не с каждым годом, а с каждым месяцем, и буквально с каждым днём, всё больше и больше, стала, вот чудеса, походить на него, – таково было его мощнейшее воздействие, – и теперь трудно сказать, насколько далеко зашло это вхождение, в точном смысле этого слова, в образ, – хотя повидаться со Светланой, наверное, можно, при желании, и теперь.

Приобрёл тогда же Виталий, войдя во вкус, ощутив азарт немалый, у Яковлева ещё один, замечательный, очень сильный портрет – мужской.

Напоминал он – так считали когда-то знакомые – Маяковского. Что ж, похоже. Пусть и так. Но не только его.

Но друг наш общий, хороший человек и художник, Вагрич Бахчанян, убеждён был, что это – его, Бахчаняна, Баха, так его мы все называли в прежние годы, портрет.

И ведь был он всё-таки прав.

И когда я, под настроение, вспоминаю этот портрет, то мысленно говорю себе снова: ну точно, Бах!..

После визита Виталия Пацюкова к Володе Яковлеву – пришёл черёд и ответного дружеского визита: Яковлева – к Пацюкову.

Договорился вновь я с Володей. Привёз его на такси, с Шелепихинской набережной в пацюковскую Марьину Рощу.

Вошли мы вдвоём в подъезд белого блочного дома.

На скрипучем и шатком лифте поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И дверь нам сразу же, широко, нараспашку, – открыли.

Яковлев как-то бочком, вперевалку, зашёл в квартиру.

Встречали его приветливые и радостные Виталий со Светланой:

– Здравствуй, Володя! Наконец ты приехал к нам!

Виталий, широколицый, невысокий, но коренастый, отдалённо похожий на Лермонтова, и Светлана, действительно светлая, как и светлое имя её, к Яковлевскому приезду отнеслись, будто к очень важному, а может быть, и важнейшему событию в жизни своей.

Помогли ему снять пальто.

Говорили ему хорошие, даже ласковые слова.

Звали его пройти в комнату, чтобы чайку с дороги попить, отведать приготовленных загодя сладостей, чтобы освоиться здесь, к обстановке привыкнуть новой.

Но Яковлев никуда почему-то идти не спешил.

Всё топтался в прихожей крохотной.

Морщил свой лоб. И, похоже, о чём-то своём размышлял.

Пацюков подошёл к нему. И сказал, по возможности ласковой:

– Володя, пойдём-ка в комнату!

И тогда встрепенувшийся Яковлев как-то вдруг, неожиданно, резко надвинулся на Пацюкова.

Всем своим небольшим, почти детским, но крепким корпусом, всем своим смуглым, скуластым, лобастым, необычайным, с пылающими глазами пророка или жреца, нервным, подвижным, словно что-то кричащим кому-то, словно к кому-то взывающим, то ли из гулкой, тёмной глубины минувших столетий, то ли из нынешней яви, воспалённым, слегка перекошенным, как античная маска актёра, опалённым огнём таинственным, изнутри,

из души, из сердца, озарённым каким-то сиянием непонятным, ему одному хорошо и давно известным, вдохновенным, живым, вопреки всем лишениям и невзгодам, гениальным, пожалуй, лицом.

Пацюков отшатнулся невольно, даже прижался к стене.

Володя к нему приблизился вплотную. Он то ли глядывался, то ли вслушивался в него.

И вдруг, для всех неожиданно, не сказал, а громко и властно Виталию приказал:

– Поскорее давай мне бумагу! Карандаши давай! Тащи мне всё, чем могу я прямо сейчас рисовать!

Пацюков, слегка озадаченный властным приказом Володиным, тут же ринулся в комнату – и мигом вернулся обратно, уже с листами бумаги и цветными карандашами.

Яковлев здесь же, в прихожей, прислонив лист бумаги к стене и почеркав по нему мягким карандашом, артистично и виртуозно, так, что была это явная маэстрия, как иногда говаривал Генрих Сапгир, мгновенно, в порыве стремительном, изобразил Виталия.

И – протянул ему рисунок свежий:

– Держи!

– Ох! Спасибо тебе, Володя! – не вымолвил даже, а как-то шумно, с призывком, выдохнул, от такой вот негаданной радости растерявшись вдруг, Пацюков.

Яковлев улыбнулся довольно:

– Похож, похож! Я знаю. Смотри – это ты!

Пацюков совсем уж растрогался.

Обретённый рисунок – бережно и надёжно к сердцу прижал.

Действо, меж тем, продолжалось и далее. Здесь же, в прихожей.

Присутствовали при этом Пацюков со своей Светланой и я, с тогдашней моей женой, Наташей Кутузовой.

Володя незамедлительно выхватил у Пацюкова ещё один лист бумаги.

И воскликнул:

– Наташа! Встань здесь вот, рядом, теперь – ты!

Прислонил захрустевший лист плотной бумаги к стене.

Мелькнул в его лёгкой, быстрой руке – простой карандаш.

Несколько взмахов руки.

Несколько линий, штрихов.

И вот он – портрет. Наташа.

И действительно ведь – похожа.

Наташа. Она и есть.

Образ её. То, что видел Володя – внутренним зрением.

Суть. Сейчас, разумеется.

Но, это важно заметить, – и на потом. На будущее.

– Дарю! – протянул Володя только что, на глазах у всех, сделанный им рисунок – юной моей жене.

– Ой, спасибо тебе, Володенька! – защебетала Наташа. Рисование – продолжалось.

Продолжалось – здесь же, в прихожей.

И только изрисовав, стремительно и вдохновенно, всю бумагу и раздарив рисунки, которые сделал он, Володя зашёл, наконец, в комнату и уселся за накрытый, в честь гостя желанного, довольно скромный, конечно, да такой уж, каким получился, зато – от души, от всего сердца, со всеми возможными, по временам тогдашним, роскошествами, накрытый, скорее всё-таки – созданный, искренне, вдохновенно, с угощениями разными вкусными, с чаем, с вином сухим, по традиции старой московской, молодыми супругами, вовсе не будничным – праздничным стол.

Сам Володя – был тоже праздником.

С тех пор и стал Пацюков самым верным поклонником Яковлева, ценителем и комментатором его грандиозного творчества.

Все мною выше названные, купленные Пацюковым ещё в первый его приезд к Яковлеву, работы – позже, в дальнейшем, не раз выставлялись и репродуцировались.

И не только они. К ним вскоре прибавились и волшебные цветы, и, музейного уровня, Володиные прочие вещи.

Ну а я – был я рад тому, что простое, вроде, обычное, поначалу, почти деловое, поскольку связано было с покупкой работ Володиных, человеческое, замечу, потому что друг к другу все в наши прежние времена относились по-человечески, хорошее, плодотворное, полезнейшее общение быстро перерастало, да иначе и быть не могло, у Володи с Виталием, – в дружбу.

Как давно это было! И вроде бы – это было недавно, только что, да, конечно же, прямо сейчас, ну – вчера, или позавчера, и

никак не позже, наверное, так хотелось бы думать нынче мне, седому совсем человеку, а на самом-то деле – когда-то, в сердцевине эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда были все мы ещё, это надо же, молодыми, полными сил, и сирени запах пьянящий, или запах листьев осенних, или снега ночного холод ветерок в окно приносил.

Марьяна Роца, дом чуть в стороне от шумной, прямой Шереметьевской улицы – стандартная, блочная, белая, в двенадцать густых, друг на друге, заселённых людьми этажей, знакомая всем нам башня, и квартира друзей, и встречи, столь частые, столь чудесные, и стихи мои молодые, постоянно звучавшие здесь, и глаза со слезами или с весёлою, быстрою искоркой, и беседы тогдашние наши – обо всём, что насущным в ту пору так привычно бывало для нас, и вино, и дымок сигаретный, и рассеянный свет полуночный, и бессонные, светлые лица, и летящие вкось над землёй, а потом и уже напрямик, в глубь ночную, всё дальше, всё выше, сквозь пространство и время, не чьи-нибудь посторонние – именно наши – посреди бесчасья, в юдольном непростом пути – голоса...

Году в шестьдесят девятом он, к моему изумлению, вдруг заявился ко мне, в квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной звоном трамваев и заросшей деревьями старыми, выходящей к мосту, за которым начинались Сокольники, улице Бориса Галушкина, в это пристанище всей московской, да ещё и заезжей богемы, – возник предо мною, выбритый старательно, в свежей рубашке, в приподнятом настроении, – и заявил с порога:

– Алейников! Ты поэт настоящий. Я это знаю. И стихи твои – слушать люблю. Читать мне трудно, а слушать – это как раз для меня. Ты давай читай мне, а я буду слушать тебя и делать рисунки к твоим стихам.

Я сказал:

– Хорошо, Володя. Почитаю тебе стихи.

Яковлев:

– Только ты найди мне побольше бумаги, любой, какая найдётся у тебя. И – чем рисовать.

Я сказал ему:

– Да, конечно. Постараюсь всё это найти.

Бумагу нашёл я – для пишущей машинки, формата обычного. Нашёл я и

карандаши цветные, несколько штук. И даже цветные мелки. Положил всё это на стол.

Володя уселся за стол. Перед собой пристроил стопку бумаги, так, чтобы удобнее было брать её и рисовать. Карандаши и мелки приготовил, по правую руку.

Посмотрел на меня внимательно. И сказал мне:

– Теперь читай!

И стал я читать стихи.

Володя, вперёд подавшись, всем корпусом, весь – навстречу, само внимание, весь – предвестие рисования, вслушивался в слова, в их музыку, в ритмы их, вслушивался – как вглядывался, словно за слухом – было у него особое, внутреннее, самое важное зрение.

Потом начал быстро, потом – ещё быстрее, потом – стремительно, в некоем трансе, для него, наверное, нужном, просто необходимом, в полёте, в порыве, в движении непрерывном, всё возрастающем, каждый миг, только так, – рисовать.

Всё, что под руку попадалось, в ход немедленно шло у него, всё в работе было – и с ним будто крепко дружило, само каждый раз его понимало – и карандаши, и мелки.

Он слушал мои стихи – и рисовал, рисовал, заполняя лист за листом, покуда не изрисовал всю стопку бумаги – и не на чем больше было ему рисовать.

На последнем листе он своим фантастическим, то ли детским, то ли инопланетным почерком, корявыми, крупными буквами старательно написал:

«Володя Алейников. Стихи.

Рисовал В. Яковлев».

Сгрудил листы бумаги – и протянул их мне.

На рисунках летали и пели небывалые, странные птицы, расправляя сильные крылья высоко, над грустной землёй, в океанах, морях и реках быстротечных плавали рыбки, на лугах светились, как звёзды, и свободно росли цветы, поднимались к небу стволами и ветвями всеми деревья, и мужские и женские лица галерей целой портретов из ненастного нашего времени, ну а может быть, из других измерений, или времён, или даже миров, смотрели, как-то пристально, с пониманием, дружелюбно, тепло – на меня.

Яковлев, тоже по-доброму, широко и светло улыбнувшись, посмотрел на меня – и сказал:

— Я как чувствовал всё, Володя, так сегодня и нарисовал!..

...Было это — в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел всё на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

— Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

— Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомия я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, — вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И усилий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть немного, потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог я собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не находилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, но иным одарённый зрением, небывалым, особым, — насквозь.

И сказал мне Володя:

— Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, и дёшево.

Собрались мы — и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом — на автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.

Там Володя заказывать стал — на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофельным — вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого — по два компота.

Дотасили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И — съели всё, что Яковлев заказал.

— Ты наелся? — спросил Володя.

Я ответил:

— Наелся, конечно. И тебе — спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.

И сказал мне Яковлев:

— Брось! Накормил я тебя — по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?

Я сказал:

— Понимаю, Володя!

— Хорошо, что ты — понимаешь. А другие — не понимают. Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинку мои почему-то быстро растаскивают. А потом — помещают в свои, о болезнях, учёные книги. А какой я больной? Я — здоров. Просто — жизнь у меня сложилась, непонятно мне — почему, не такой, как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же вижу я — не так, как другие, вижу — то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. — Тут Володя громко вздохнул, погрустнел и спросил: — Понимаешь?

Я ответил:

— Да, понимаю.

— Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда уйдём.

И сказал я Володе:

— Пойдём.

Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой столовой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух.

Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро.

— Если я буду снова в психушке, ты меня наведишь? — спросил, морща лоб свой высокий, Володя.

Я сказал ему:

— Навещу.

— Ты куда сейчас?

— Я не знаю. Ну а ты?

— Ну а я — домой. Там — такая же точно психушка, даже хуже. А я — терплю.

— Понимаю тебя.

— Ну, пока. До свидания.

— До свидания.

Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя — к автобусной остановке. Шёл, черноглазый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой

кутерье. Шёл – и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёздам, – всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге – быть...

* * *

– У тебя вся спина белая!

Что за шутки? И чей это голос?

Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во дворы, откуда доносился дурацкий оклик.

На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, сидели, усмехаясь, трое парней.

Ворошилов сказал им:

– Придётся на спине что-нибудь рисовать.

Парни дружно, громко заржали.

– Длинный, ты, наверно, художник? – вдруг спросил один из парней.

Ворошилов ответил:

– Художник.

– А меня нарисуешь? – спросил тот же парень. – Или слабо?

– А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. – Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: – Отстань!

– Что? – вскочили все трое парней. – Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?

Ворошилов сказал:

– Отстаньте!

Парни грозно придвинулись к нам.

– Ты, художник!

– И ты, борода!

– Схлопотать по мордам хотите?

Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее – в поисках пива. Шли – к пивному ларьку. А тут – на пути нашем долгом – загвоздка. Трое пьяных парней. Задиристых. Молодых. И довольно пьяных.

Я сказал Ворошилову:

– Игорь! Нам придётся объединиться.

И ответил мне Ворошилов:

– Да, Володя! Объединимся.

В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, массивных ветвей.

Приподнял я с земли одну ветку – и шархнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.

Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.

Отшатнулись парни от нас:

– Каратист!

– Ребята, атас!..

Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:

– Брысь!

И парней – словно ветром сдуло. Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.

Ворошилов сказал:

– Володя, неужели ты – каратист?

– Нет, конечно, – ответил я. –

Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто – так получилось. И сам я не пойму – ну как это вышло?

– Значит, свыше нас уберегли! –

Ворошилов голову поднял вверх – и что-то там разглядел. – Ну конечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.

Согласился я с ним:

– Это – ангелы.

Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало ещё – за кем-то, неизвестно – кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших – такое – правилах.

Мы отправились дальше. Мы шли по столице – в поисках пива.

Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не сосчитать.

Но в пивнушках – не было пива. И ходить нам – уже надоело.

И сказал тогда Ворошилов:

– Знаешь, что? Не хочу я пива.

Я сказал:

– И я не хочу.

– Лучше выпьем с тобой газировки.

Без сиропа. По два стакана.

Я сказал:

– Газировки – выпьем.

Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый – по два стакана, шипучей, освещающей, чистой воды.

– Красота! – сказал Ворошилов.

Я сказал:

– Красота. Лепота.

Добрались мы – сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно

призрачным снегом, машин, сквозь прибоем звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, лёгкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но всё же былом, до знакомого всей московской, удалой, развесёлой богеме дома, где обитал я тогда.

Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам, после наших дневных походов по жаре. Отдышались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёл я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.

Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы, в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится – через годы – воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать – и прозревать...

...В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.

Ворошилов зашёл в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, – и швырнул их на пол, сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

– Выбирайте!

Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, большая компания.

Все – как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесённые Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! – и давай выбирать.

Я сказал:

– Что ты делаешь, Игорь?

Ворошилов:

– Пусть выбирают!

Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.

Я сказал:

– Человек – трудился. Что ж вы – так? Налетели, как хищники, на картинки – скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!..

Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, – и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят о своём, картинки, между делом, с видом прожжённых знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все – с претензией на свою особенность, все – с самомнением, с гонором, с хваткой, на проверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:

– Расходитесь. Мне надо работать.

Поворчав, компания стала расходиться.

Сказал я Игорю, громко, твёрдо:

– А ты – оставайся.

Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный дым, как туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нём было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

– Игорь, где ты? Иди пить чай.

Ворошилов, с книгой в руке, – это был им любимый Хлебников, – длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазюканных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришёл на кухню.

Пили чай мы. Вдвоём. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них – мой, а другой – ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в законную щурясь хмарь, эти старые тополя.

Эти старые тополя – сохранились. Во всей округе – всё снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой – один, другой – ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, – стоят. Всё на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустных лет, овеванных славой нынешней. И листвою – сквозь боль – шелестят...